

Владимир Коновалов

17,5

18+

Владимир Коновалов

17,5

«Автор»

2019

Коновалов В. Ю.

17,5 / В. Ю. Коновалов — «Автор», 2019

Действие происходит в наше время в неназванном городе. Любовный треугольник. И даже квадрат. Потому что на эти отношения влияет и бабушка жены. Все друг о друге всё знают. Кругом добро, все в добрейших отношениях. Но дед вынуждает разобраться в любовном треугольнике.

© Коновалов В. Ю., 2019

© Автор, 2019

Дом стоял на счастливой улице сплошной яркой зелени цветных плодовых садов прямо посреди солнечных дней и посреди летних прогулок улыбающихся гуляющих. Самый тут приветливый квартал. Туда и обратно памятные таблички на фасадах. Это не был лучший дом в городе, в лучшем заседали железнодорожники. Но в этом было всё. Вся мебель, всё время, вся любовь. Все в нем стоит на своем месте с самого своего забытого рождения. Дом был весь плоть, звуки, запахи позапрошлого века. В нем и на нем был даже кончик предыдущего по отношению к позапрошлому нынешнего. Прекрасный конец. Тот, конец того века, что исчез теперь уже навсегда. Некоторые места фасада внушали беспокойство – в них отсутствовали окна. Дом на свой возраст выглядит великолепно. Ему столько не дашь, хотя от старости он стал очень старым. Для сравнения посмотрите на соседний, на такой свеженький домик на углу, где еще до сих пор остались витрины старого магазина «Грусть»; теперь он называется не так, но витрины ее же, то есть грусти. Над этими витринами когда-то родился один неплохой поэт. То есть на втором этаже. А на первом шляпный магазин. В шляпном магазине спросом пользовались старинные любовные письма, из случайно обнаруженного там в подвале ящика. Когда они почти все были распроданы, в магазине сами стали составлять письма в том же стиле и той манере и умудрились удержать продажи на прежнем уровне, совпадающем с местными покупательскими возможностями любителей шляп и любовных писем.

Прогуливались влюбленные. Туда и обратно шляпный магазин заразил любовным настроением весь квартал. И вот как раз может быть поэтому соседний к шляпному дом в виду близости и в виду непосредственного контакта с ним весь был полон любви. Она, любовь, в нем просто сочилась сквозь щели. Сквозь стены. Ее, казалось, запасали тут впрок. Любовь сюда, похоже, заселилась первой, за секунду до того как первые жильцы переступили порог, и съезжать не собиралась и при нынешних.

Нынешним жильцам не пришлось, как улиткам или людям, строить себе жилье всю жизнь, чтобы к концу ее довершить себе вокруг себя и за счет себя свою раковину. Они заняли чужую – пустую. Большая раковина чужих давно потраченных на нее жизней. Внутри нее чудеса старины. Те что остались после тления времени в пустой раковине. Многие чудеса не выдержали рядом с таким большим временем. За исключением чугуна – тот присутствовал первоначально. Трухлявые половицы вовсе испарятся, искрошится ветром кирпич стен. Останутся украшения на перилах чугунной лестницы. Кроме цветов, оленей, свечей, волчьих клыков, чашек, гербов на монетах, тут были еще драконы с улыбкой до ушей, слоны с хоботами дыбом, пузатые дети, натянувшие отцовские штаны до подмышек. Сапог. Короче, лестница останется стоять, когда рухнет истлевший, истраченный временем дом. И вокруг нее можно будет строить новый. Жаль, не чугунный.

Дом не поделен жильцами надвое или на какие-то другие равные или ровные части. Он условно, и естественно даже, в псевдошахматном порядке или беспорядке, все-таки поделен, поскольку обитатели уважали друг дружку и уважали пространство, чужое и свое собственное – каждое в сумме большое из малых. Кое-где картины висели в обрамлении следов на стенах от других долго висевших картин, больших по размеру, – никто не знал каких. Так же и жильцы часто меняли место своего ночлега, разбредаясь по дому каждый вечер, как домовые. Где кто спал прошлой ночью они могли и не помнить. Потому что еще большим было не занятое никем пространство. Такого хватало с избытком в доме. В нескольких углах навсегда застряла тень. А в луче солнца подвальной решетки над невысыхающим пятном земли кипела ликующая жизнь мух. Третий этаж проходили по лестнице, не останавливаясь. Было слабо известно, что там вроде бы кто-то когда-то сошел с ума. Но несмотря на запустение, свет солнца проникал в сводчатый коридор этого сумасшедшего этажа легко и чисто. Было заметно по одному взгляду с лестницы, что с веником или шваброй с пылесосом тут делать нечего. И в самые дождливые дни между отопительными периодами с необитаемого этажа по лестнице дуло теплом на другие, как с обратной стороны пылесоса.

Для видимости тесного уюта хозяева старались побольше наткаться друг на дружку – и следовало действительно постараться. Пустовали и самые большие комнаты даже в обитаемой зоне, те что с плесенью каменно-сводчатые, как подвалы, но только с вырубленными узкими окнами и с паутинами, висящими-блестящими в четко-резаных солнечных лучах. Можно сказать, что эти залы вообще не существовали, потому что о них не помнили, хотя постоянно через них быстро проходили.

Был момент, когда хотели обновить дом, перекрасив весь фасад в настоящий черный, которым потерянное вороном перо сверкает на солнце, но не посмели. И не потому что много раньше находились люди, обращавшие внимание хозяев на не полностью скрытые плющом куски фасада с какой-то каменной резьбой, на историческую ценность здания с упоминанием заученных наизусть названий каких-то европейских столиц, на древний и забытый, уже увы, архитектурный стиль, а также на то, что, соответственно, памятник архитектуры нуждается в куда большем внимании, бережном обращении и даже охране. Этим совершенно посторонних людей, видимо, отличала не только глупость, но и лицемерие и хамство – таких, конечно, много кругом, но высказывание вслух подобных замечаний окончательно исключало возможность того, что они еще раз переступят порог дома. Был раз когда они переступили, и из места жительства сделали музей. Тогда-то дом и отвернулся от людей. Улица толпой жужжит, толпой зовет, он хладен, нем и недвижим. Стоял он долго нелюдим. Однако надо сказать, что это все из ряда вон, и все прошло; хозяева дома не привыкли огорчаться, двери были открыты, на дух не переносили очень не многих проныр, да и тех давно забыли.

О прошлом тут никто не думал. Теперь собрались думать о будущем – сегодня читали завещание. Жаль, жильцы не могли в текущую минуту наблюдать свой дом с улицы. С нее он выглядел чудесно в рассветных лучах. Прохожие сейчас проходят мимо ограды большого дома, похожего на небольшой замок, и с любопытством вглядываются в окна, за которыми, по их мнению, должны происходить книжные интриги из-за огромного наследства. Они правы, именно это там и происходило и, собственно, уже произошло, и по-книжному, т.е. там уже сидел нотариус. С толстым завещанием хотели покончить до жары, которая начиналась на этой улице с девяти. А наследников не было. Нет, в завещании они были. Хотя нотариус после мучительно долгого общения со своим клиентом до сего дня не сомневался, что в тексте их не будет. Их и не было. Отчасти он предвидел верно. Их не было на этом торжественном собрании, на котором зачитывалось для них завещание и о котором их письменно уведомили за целый месяц. Проспали или забыли. Или забыли.

На лестнице Давыдов провожал поставщика мебели. Навстречу поднималась группа черно-белых господ; они же мимо него минуту назад и спускались всей своей гурьбой, а теперь опять поднимались как плотная бестолковая кучка пингвинов, отбившихся и потерявшихся на льду. И все это молча, туда-сюда.

– Сегодня у вас людно, Давыдов, – подумав о конкурентах, сказал поставщик большого объема мебели, между прочим, – Между прочим, наши юристы уже обсуждали скидку...

– Это юристы деда, – кивнул на юристов Давыдов, – Сегодня читают завещание деда жены.

– Соболезную. Все уходят так рано.

Давыдов посмотрел на часы:

– Поздно, чорт, почти полдевятого. Вы найдете выход? Живо, – это он уже себе, и живо рванул наверх, но не более чем по две ступеньки за раз.

– Давыдов, подожди, – снизу его догонял Лёва, любовник жены Давыдова и секретарь деда Милы, жены Давыдова. Он тоже опаздывал: не зная, что принести на чтение завещания деда Милы, Лёва все утро ездил и выбирал машинку для счета купюр.

Они с Давыдовым оба впервые в жизни шли на чтение завещания и в сильном волнении надеялись произвести хорошее впечатление, чтобы их могли использовать в этом новом для них деле. У входа в библиотеку они придирчиво осмотрели друг друга, нет ли изъяна в костюмах. Особенно, спину Давыдова – он любил прислоняться к белым стенам.

Они умудрились опоздать на единственное в своей жизни завещание. Перед тем как войти, они по-очереди посмотрели в замочную скважину – стоит ли вообще теперь опоздавшим входить. Наконец, Лёва, еще раз поправив белый воротничок на Давыдове, тихонько ступил за ним в библиотеку.

Перед кафедрой уже были поставлены три стула в ряд. В стороне горел большой канделябр. Видимо, кто-то думал, что завещание читают при свечах. Никто не знал, как в таких случаях украшают комнату. С кафедры уже читали, и сидящая перед ней в одиночестве посреди пустого зала Мила, высоко закинув ногу на ногу, грозно махнула крадущимся вдоль стены Давыдову и Лёве, чтобы они немедленно сели рядом.

Тесно прижавшись друг другу посреди библиотечного зала, они смиренно сидели напротив одинаковых людей из нотариальной конторы, как перед экзаменационной комиссией, которая решала их следующую судьбу. Среди этих незнакомцев дед вполне еще тут же присутствовал и держался как на репетиции конца света. И, судя по виду деда, для света ожидался скандальный конец.

Дед решил устроить это чтение после того, как на днях забыл помешать сахарный песок в утреннем кофе, при том что песка он не сыпал никогда. Такое грубое отступление от утренней домашней привычки явило ему какое-то предзнаменование. Оно было кстати: можно было покончить с этим вопросом (не с песком, а с завещанием), работа над переизданием книг отнимала помимо лекций все время и все силы, какие еще оставались на старости лет.

Однако покончить с завещанием не получалось уже более часа. У помощника нотариуса начал заплетаться язык, его сменил другой, а потом и сам нотариус. Но на слух троих зрителей ничего не изменилось. Они мало слушали, их сильно заинтересовали усы адвоката – как будто нарисованные под носом черной вилкой. Кто-нибудь из юристов постоянно посматривал на часы, и, не зная, что это значит, трое наследников начинали ерзать на своих стульях. Давыдову и без этого очень не удобно было сидеть на стуле. Напряженно вслушиваясь в чтение завещания, он начал на цыпочках красться к креслу у стенки с наваленными на него подушками. Очень ловко – одним движением – он соорудил из подушек на кресле самое удобное в мире место для сидения и сложил руки на своем вязаном жилетном животе. По ходу чтения он иногда для вида пересаживался и на свой прежний стул рядом с остальными.

Монотонность чтцов вгоняла в сон. С художественной стороны этот текст также разочаровывал. Оставалось надеяться, что он выиграет с течением времени – когда вступит в силу. В сравнении с литературными шедеврами завещание все же имеет преимущество. В отличие от них, обманывающих прошлое или выдуманное будущее, оно документально подчиняет и бросает вперед – в документально определенное будущее, уже теперь имеющее четкие инструкции. Но с текстом этих инструкций не очень ладилось. Три нотариуса с этим не справились. Этот был уже пятый, потому что и сам дед, видите ли, пытался тоже. Безуспешно. Оно и не мудрено. Не легко писать текст, который по-деловому сухо и походя переступает твою жизнь, которая хоть и едва, а всё же сочится еще по жилам. Однако каждого из ранее уволенных поверенных дед всегда приободрял и даже льстил им, в конце называя их забавными субъектами.

Зато теперь все были уверены, что завещание не даст сбой ни на одной стадии своего будущего осуществления. Завещание для деда было еще одной, готовящейся к публикации, научной работой. И он хотел, чтобы читателю завещания, если такой найдется, легким намеком напоминания померещился бы величественный символ некоего предостережения, ненавязчивого и исчезающе призрачного.

Нотариус со впалыми щеками легко теперь после этой работы мог крутить на пальце тугой перстень – дед его вымотал, то есть буквально размотал за нитку, потихоньку, но непрерывно. Зачитывая тяжеловесные, какие-то маловероятные обороты, нотариус вздыхал и имел бледный растерянный вид. Он прекрасно понимал тех трех чудил, что были до него. Мало того что главная мысль завещания не была приспособлена для человеческого восприятия, основной текст был расщеплен и распялен вперемешку толстыми слоями пояснений и непрерывными ссылками на многочисленные приложения, которые своей змеиной спиралью хотели задушить сам русский язык. При чтении приложений шевелились волосы. Среди прочего имущества появлялись вещи с какими-то тревожными названиями, непонятного происхождения и назначения. Некоторые списки не ахти каких активов и произведений искусства зачитывали с множественностью предосторожностей. Нужно быть подготовленными людьми, чтобы просто услышать это. Оно и понятно, надо иметь немало мужества, чтобы противостоять вкусам толпы.

Ближе к заключительному пункту нотариус наткнулся на случайно рифмованные строчки, и когда они вдруг стеклянно прозвучали, он испуганно округлил глаза на публику. Мила одними губами дохнула «браво», и он нашел силы закруглиться. Заключительную часть читал уже сам дед.

Дед был доволен завещанием, он чувствовал себя изобретателем. Это правда. В завещании что-то действительно мерещилось смутным напоминанием и даже предостережением. Несмотря на сухость формального стиля, оно затягивало; из внимательного читателя оно могло вымотать душу.

Самый молодой помощник нотариуса троим сидящим напротив зрителям помигивал не унывать – мол, скоро все кончится. Дед перепутал все отчества в завещании, но было понятно, что все получали наследство. Трое наследников переглядывались: чудо из чудес! Сегодняшнее испытание выдержали все. Все сдали экзамен без труда. Нотариус пожелал им удачи. Одновременно с этим все встали.

Все-таки их будут использовать! Пытаясь понять, как так получилось, наследники склонились, почти соприкасаясь тремя головами, над завещанием – они впервые в жизни видели завещание.

– Это новая книга деда.

– Нет, – поправил нотариус, – это завещание.

– А откуда такое название?

Лёва первым дочитал первую страницу и подписал внизу свои инициалы. Ему подсказали, что этого делать не нужно. Временами кто-нибудь из троих наследников, не разобрав что-то, пытался вырвать из чужих рук страницу, мешая и другим, и себе читать. В волнении Давыдов взял со стола какую-то юридическую книгу, прочел корешок, не вникая в него, тут же положил ее не на ту стопку. Они вертели листы завещания, проверяя, нет ли чего и с обратной стороны, что полагается заметить наследникам. Всклакивали и садились.

Не дочитали. Не смогли они. Наконец, встали и снова сели. Отпраздновать! Эта радостная освободительная мысль, по-видимому, пришла в голову трем наследникам почти одновременно – на их сдвинутых стульях прошло легкое движение. Спросили у деда, удобно ли это. Дед только посмотрел и промолчал, вроде как ему все равно. Но ведь и эти трое вовсе не в обиде на деда за то, что он до сих пор проедает их наследство. День за днем. Его хотели трижды качать, но не получилось и однажды, он испуганно брыкался, и его аккуратно поставили на землю. Он, видимо, не очень хотел.

На стене узкой лестницы (по парадной спускались редко, по ней больше поднимались) висела лишь маленькая рамка, маленькая фотография какого-то чьего-то, не их, домика в совершенно зеленой деревне. Можно было бы подозревать, что кто-то испортил стену намеренно, если бы кто-нибудь обращал на это внимание. Каждый раз когда спускались, дед пока-

зывал на стену: «Хорошо же, не правда ли?», и Давыдов кивал головой, хотя дед обращался к любовнику внучки. Тот был занят, он всё норовил поддержать Милу за локоток, но и это делал двумя пальцами и с какой-то лентой.

Мила, как соскочила с последней ступеньки, начала. Без всякого предупреждения она снова заговорила о беременности. Ее слова прозвучали так, что никто и не думал, что нужно отвечать, пока она не прикрикнула уже с вопросительным знаком.

– И вечно у вас круглые глаза, – на самом деле, никто и бровью не повел, – Я всего лишь забеременела, – и, глядя на их постные лица, подтвердила себе, – Ну вот, я же говорила, вы с ума все посходите, когда услышите.

Все молчали. Думали свое, возможно одно и то же. Погруженное в раздумье лицо Милы смягчалось детскими чертами. Дед исподтишка чуть подтянул локти глубже в рукава. Он помнил, как маленькие зубки впивались в толстую руку, если Миле возражали. В детстве Мила кусалась. Дед по неосторожности чуть не закатил глаза: помилуй нас, грешных. Муж и любовник не дрогнули. Любовник вступил бы в диспут о беременности, если бы все это кончилось слезами – слезы Милу невероятно красят. Но он знал, что эта тема не заставит ее всплакнуть, поэтому он помалкивал.

Молчать было можно, но всем полагалось слушать. Да и на что отвечать? Ищи тут вопросительный знак. Никто не решался смотреть ей в глаза. Ее взгляд теперь был так цепок, что казалось, она приценивается и взвешивает этим взглядом тела всех троих мужиков, как голые тушки куриц на рынке. Раньше, в другие такие же дни, ей возражали, что, мол, всё это не так. Теперь все давно уяснили, что тут только покорное молчание может ее обезоружить. Обоснованное возражение действовало как красная тряпка. Она, даже не сидя, а стоя, сразу же выпрямлялась на такую наглость. Она кривилась, как будто они говорили звуками букв вверх ногами. При такой оплошности, не сходя с места и притупив глаза, следовало молча взять свои слова назад. Немедленно.

Мила долго не умолкала. Может, ее поощрял потаенным взглядом Давыдов – он, какой смысл скрывать, любил слушать голос жены. Он любил жену больше, чем мог, поэтому понимал ее не совсем верно, а иногда и видел ее неясно. Говорила она вещи, в наивысшей степени наивные, и хоть и не глупые, но сущий вздор, но эти вещи имеют свойство приводить всех мужчин в замешательство – всех мужчин, мужей, любовников, родных, не родных, старых и совсем юных и даже некоторых маленьких. Они, мужчины, еще более глупо замирают от этих вздорных вещей, то есть выглядят глупее, чем сами эти вещи. В глупейшем страхе. Потому что если вдруг проглянет хоть намек на возражение этим глупостям, то всем присутствующим мужчинам (даже тем, кто оказался тут случайно и по ошибке) будет не сладко не только в этот самый момент. Найдется повод припомнить этот момент в любой другой момент, хотя бы он был и перед окончанием старости. И совершенно другими и совершенно будущими женщинами. И это бывает чаще, чем можно было бы предположить. Потому что мужчинам кажется бесповоротным кажущееся им презрение обиженных больших глаз, которые больше уже не здесь и уже больше не знают, где теперь они найдут приют.

На безмолвное отрицание мужчин Мила без тени гневных восклицаний улыбалась:

– Мне-то какая забота?

И ссылаться на семейного доктора не имело смысла.

– Как это у многих случается мнимая беременность? Многие, конечно же, не беременны. Но по-вашему получается, что все. И я, и все не беременны? Вы это хотите сказать. И я, и все? – в ее голосе не было обиды, не было оскорбленности, не было ничего, кроме уверенности, что тела двух людей должны произвести ребенка с таинственной судьбой. Если уж и в этом сомневаться, во что же тогда верить? – Нет же. Это ошибка. Вы ошиблись.

Все четверо (да, включая и Милу) силились определить долю своей вины, в абсолютном недоумении силились понять вообще, в чем они повинны. Но на ум приходило что-то совершенно постороннее и очень многое, и на чем-то определенном остановиться никто не мог.

– Вы подумайте, они всё отрицают, – укоризненно покачала она на них головой, одновременно ожидая от них понимающих улыбок, поскольку обращалась к ним же, чтобы они разделили ее возмущение.

Лёва на мгновение опустил глаза к пятнышку на носке своего ботинка, отчего его равнодушие можно было счесть знаком согласия. К счастью Мила смотрела в другую сторону.

– Тебе всего 17, – как всегда не выдержал по этому поводу дед.

– 17,5. Вот соседи. Вот вам другой пример, – привела пример Мила, – В 17,5 у меня уже могли бы быть двое. Посмотрите на соседей.

«Если так, то уж могли быть и двое с половиной, о да», – не выдержал и таки подумал Лёва.

– На днях ты с соседкой даже не поздоровалась, – напомнил Давыдов. И похлопывал при этом по спине Лёву, рассчитывая на его помощь, пытаясь выхлопать из его спины те самые слова, что разрядили бы всё.

– А как я могла ее узнать, она постоянно перекрашивает волосы с белого на черный.

Дед устал наблюдать за беспомощностью Давыдова и Лёвы и высказал свое полное мнение вслух. И тут же пожалел, она ухватила за слова с победной улыбкой. Она даже подошла ближе и доверительно ухватила за дедушкину самую слабую пуговицу на груди. Дед сделал было движение защитить ее, но Мила уже отпустила. Она то поднималась по лестнице... то опять спускалась к ним. Иногда молча. Уходила опять вверх... А что делали все трое, когда она так говорила? Ничего! Они трое лишь стояли, не двигаясь, как мыши рядом с удавом, которому до них пока нет дела, и лишь водили за ней глазами. Они не боялись, просто это была ритуальная поза ожидания, самая правильная поза, при которой это всё могло быстрее кончиться.

– Я все это понимаю, но ничему тут не верю, – кончилось, кончила она.

Они ей сказали, что она и прошлый раз точно то же думала.

– Что думала? Ничего я не думала... Неужели думала? – И вдруг чуть не вскрикнула, округлила глаза: – Думала! Думала!

Однако тут же нашлась:

– Какие же вам нужны еще доказательства? – Хотя она еще не представила ни единого.

Она подумала, что ничего-то они не знают. Они не заметили бы даже, что она не беременна совсем. А она, разумеется, всего-то лишь и хотела знать, почему это сейчас-то невозможно, и точно узнать, когда это станет возможно-то.

Они смотрели на ее губы и знали их следующее движение, и поэтому знали все, что она сейчас скажет. Ей приходилось делать обманные движения губами, чтобы сбить их с толку. В ее словах, спустя столько-то слов, не звучала обида – просто она хотела сказать что-то необычное и весомое по этой теме, чтобы их глаза и лица хоть как-то среагировали. 17,5. Глядя на них, было похоже, что они действительно готовы ждать, когда накопится больше лет. На зло им Мила говорила уже откровенные глупости, но так тихо, что все склонялись ниже, чтобы лучше слышать. Мила была ростом чуть выше сидящего мужа и едва доставала макушкой до плеча стоявшего любовника. После размышлений она с этим согласилась – с этим, с тем, что им бесполезно что-либо объяснять. Пора уже было подбрее взглянуть на этих несчастных. И Мила позволила себе чуть улыбнуться всем и самой себе. Заходя им за спину, она останавливалась как вкопанная – в эту секунду им полагалось не шевелиться и не переглядываться. Совсем как вкопанная она стояла не для того, чтобы они цепенели под ее невидимым за спиной взглядом. Ее внезапно останавливала боязнь шума. Она пугалась, что вдруг не видя ее, они

сочтут, что теперь можно начать страшно шуметь. Вроде как она иссякла, и можно бурно и абсолютно беспочвенно возражать.

Они, действительно, не выдерживали и начинали шевелиться и натыкались на углы и мебель, словно были чужие в доме. Когда у темной лестницы все тесно сжались в кучку и опять разжались, последний ход сделал Давыдов. Блестяще! Не даром иные мужья умеют тупо слушать и выжидать. Вместо какого-то ответа муж открыл крышечку, в то время как дед прервал молчание и опять начал о возрасте. Ей 17,5. Мила уже в мыслях начинала стонать, но вдруг вместо стоны радостно вскрикнула: муж протягивал ей нечто, сверкающее брильянтовым блеском:

– Ах какая прелесть, ты все-таки ее повернул, – Давыдов держал банку огурчиков. Эта крышка никому никогда не поддавалась, даже когда, толкаясь, пытели над банкой в несколько пар рук. Мила пришла в такой восторг, будто никогда в жизни ничего лучшего не видела. Она соленые огурцы не любила (ее слабостью были малосольные), но отвернутую банку она теперь оглаживала с восхищением. Банка сверкала в свете свечей, это мерцание было очень кстати теперешнему мятежному волнению Милы. И она улыбнулась. Во всем, что не касалось беременности, супруги прекрасно понимали друг друга. Мила опустила ресницы и нежно улыбалась, будто муж преподнес ей бриллиант в ухо, – Не надо было этого... – всё неожиданное заставляло ее испытывать неоправданно завышенное чувство любви.

Возмущение о мнимой беременности незаметно сократилось до неприметных размеров мерцающего от свечей бриллиантового блика на стеклянной банке. Под приподнявшейся пухлой губой ярче свечей белели зубы. Пока Мила замирала и разглядывала сокровище, другие, косясь на нее, тихенько ощупью по стенке продвигались к уже давно накрытому столу. Она тут же резко почувствовала, насколько ей хочется есть:

– Марш за стол, – со сдавленным стоном она и сама первая туда, за стол, запрыгнула и жадно потянулась к разным кускам.

Немногочисленные блюда соответствовали скорее друг дружке, чем вкусам сидящих за столом. В столовой было по-вечернему свежо, одно окно давно разбилось благодаря ветру, по весне распахнувшему раму о стену. Ужин накрыт. И стол праздничный. А именно: на столе красивые карточки с именами гостей. Гости, рассевшись по своим обычным местам, тут же заметили эти белые карточки с их собственными именами. Еще бы. Это единственное изменение за вечерним столом. Изменение праздничное. Не важно, что так же они сидели за столом на своих привычных местах весь прошлый месяц и, видимо, просидят и весь следующий. За столом у всех застывший тихий восторг. У всех в руках застыли эти объявления. Никто не был забыт, и не было незваных гостей. Никогда, никогда они не видели ничего подобного. С первого взгляда было видно, что все тут за столом чувствуют себя счастливыми, хотя сами не знают почему. Мила заслужила все улыбки: их черные имена, их собственные, на белоснежном плотном картоне. И как приятно пальцами шупать свои имена. Какой восторг! Этот восторг щекочет горло. Глаза лучат слезливый свет. Кто-то робко хлопнул в ладошки. Да, спасибо, ведь можно хлопать, если слова застряли в слезах. Трое мужчин обрушили сухими мужскими парами рук аплодисменты на хрупко сидящую за столом Милу. Эти аплодисменты заменили бы собой пару-тройку театральных зрительных рядов. Мила сделала знак: хватит, и: «Может, Лёва скажет тост».

Поскольку Лёвой зовут ее любовника, ему и приходится встать с бокалом в руке. Вставать и говорить ему не трудно. Будучи не только любовником, но и секретарем деда Милы, он часто и повсеместно это делает: «В этот знаменательный день что хочется сказать?», – Он вопросительно и с любовью осмотрел всех и все тарелки, чтобы настроиться. Настроился. Язык чуть зацепился о нижние зубы, когда он шепеляво начал. Начал он сразу о конечности жизни, плавно перевел к росту цен на землю, особенно в районе кладбища. Затем ответил на несколько своих вопросов. Лёва был голоден, что обычно провоцировало его на замечательные вещи.

Однако сейчас он один стоял и не ел, в то время как все набросились на еду. Поэтому он урезал даже сокращенный вариант речи. К тому же, слушал его сейчас только слезящийся дед. Мила целиком была занята Давыдовым. Она на чем-то тихо настаивала, накладывая скривившемуся мужу какую-то парную дрянью, а он косился на золотистые круглые картошки, дымящиеся в стекающем сливочном масле. Он хотел с огня мясо пополам с дымом. А жена тыкала ему в губы овощем на вилке: ну-ну же, запах очень не плохой. Пока Мила заполняла его тарелку зелеными брюссельскими шарами, муж расправлял под столом салфетку, словно укутывал ноги пледом и готовился вздремнуть. Горячо о жареной картошке шипела его мысль и пенилась маслом на сковородке. Он даже чуть выдохнул ртом невидимый пар, чтобы не обжечь пасть в своей фантазии. Этот-то момент и ловила Мила, чтобы ловко и с прибауткой забросить в открывшуюся печь сельдерейные бревна или капустно-брюссельское ядро. Не то чтобы Мила часто кормила Давыдова, но так как-то завелось когда-то и вот иногда происходило.

В доме был совсем не дурной погреб, однако по бокалам разлили шампанское, зачем-то прихваченное в пакет среди всего прочего из бакалеи (так они называли магазин на заправке), в которую заскочили в последний момент по пути домой – в отличие от погреба, дома в холодильнике частенько было шаром покати. Скорейшей ликвидации бакалейного (заправочного) шампанского должен был способствовать тост Лёвы, уже прямого, стоящего и обещающе держащего пиджачным плечом, чтобы было понятно, какой именно это будет тост. Тост за завешание, заветный тост.

– Иногда мысль ощущает страшную дрожь свободы и, отрицая границы черепа, мчится сквозь ветер в гриве в пустой отступающий горизонт, – продолжал песню Лёва, – и, не догнав его, замедляет шаг в тихой растерянности и останавливается на все четыре копыта под высоким куполом неба.

На этих словах Лёвы Давыдов, пережевывая какого-то невероятного запаха сгусток, презрительно кривился на деда. Лёва в такт словам покачивал бокалом рассеянно и грациозно. Он еще не выпил ни капли, пока другие себе (и Миле тоже, несмотря на ее 17,5 и «беременность») то и дело подливали, не дожидаясь конца речи. В бокале Милы, совершенно уже полным, шампанское могло выдохаться всю речь Лёвы, то есть почти весь вечер.

Дед тем временем перебирал по полировке стола ноготками, как краб меньшими из своих ножек. По ходу Лёвиной скороговорки дед морщился от переходов на его личность. Да, в завещании упоминалось его имя, но он больше оценил бы, если бы о его завещании говорили как о чем-то монументально общем, о вкладе в формальный порядок перехода границы между жизнью и смертью. Его имя в тексте, по замыслу, должно было означать в первую очередь не участие, а авторство. В свое время, он, конечно, и сам покажет всем пример участия, но это будет лишь частное подтверждение его правоты. Он был прав уже сейчас.

Дед в наигранном безразличии ожидания конца спорной Лёвиной речи довольно бездарно имитировал глотки из чуть наклоненного к губам бокала и сам подливал себе вина, пока бокал не перелился на стол и не потек ему на брючные колени. Теперь ему действительно пришлось осторожно вытягивать вниз шланг бескровных губ и отпивать из полной посуды, не касаясь ее руками, чтобы не разлить еще больше. И не забывая кстати при этом, вслепую подыедать крючьями пальцев с тарелок пожухшие одинокие и уже какие-то беззащитно-безымянные припаявшиеся копченые ломтики. Даже по этим косвенным признакам было уже трудно определить, сколько времени Лёва уже говорит.

– Забудь, в доме нет жареной картошки, – сказала Мила на потухший взгляд Давыдова.

– Я, может быть, совсем о ней и не подумал, – это была ошибка – раскрыть рот – в нем тут же оказалась опять капуста. Тут уж Давыдов с высоко поднятым бокалом в руке (говорящий и стоящий Лёва ему благодарно кивнул) сам себе про себя молча поклялся, что никогда не произнесет больше ни слова. Мила кивнула вслух:

– Дудки, милый мой.

– Ну, это еще не известно, – ответил Давыдов.

И вдруг у деда стало такое усталое лицо, будто он настолько растроган, что сейчас выдаст в ответ на продолжающуюся речь Лёвы что-то торжественно-благодарное. Грудь его наполнилась вдохом, плечи расправились. Оказалось ложная тревога, он просто проглотил кусок больше, чем мог, и чуть не подавился. Все обошлось. Хотя, кстати, ответные речи дед умел толкать, тут ничего не скажешь.

Лёва развивал свою мысль:

– Иногда, знаете, можно и отвлечься, сходить на каток.

– Но я не стою на коньках, – вдруг заметил дед.

– Да, это правда, – широко улыбнулся Лёва, представив деда на коньках, и продолжил праздничный тост с улыбкой.

Мила уже в сотый раз просила Давыдова открыть рот. Да когда же он доест свою тарелку.

Лёва, наконец, сделал паузу, очень короткую, но такую глубокую в молчании, что стало слышно сопение Давыдова, а дед, засмотревшись в фиолетовую искру в бокале шампанского, не на шутку расчувствовался: «Прошу извинить меня», – и удалился в уединение ненадолго. Может, он не хотел, чтобы всё это особенно раздували. На полуслове Лёва скучно закруглился и сел. И когда дед вернулся, то старался избегать смотреть на Лёву.

Лёва, пытаясь загладить неловкость молчания, спросил что-то по делам деда. Дед кивнул и сказал, что обсуждать это не хочет. Сильно щипая свою салфетку, Лёва обратился к Миле: «Дорогая, будьте добры соль», – и раскрыл ладонь, чтобы солонка в ней оказалась. Но никто соль не передал, пришлось встать и взять. Когда он сел, Мила рассеянно и ласково на него посмотрела. «Перца нужно»? – протянул ему перечницу ее муж. «Нет, мне лучше соль». Перец немного ссыпался и, прилипнув, проявил жирное пятно на руке Давыдова, которого он без перца не замечал. Его салфетка давно слезла с колен из-за активных стараний поделикатнее возить ножом по тарелке, чтобы дно не треснуло, как в прошлый раз, когда соус растекся повсюду. Он потянулся было под стол поднять салфетку, но не дотянулся. Салфетку любовника жены он взять не мог: тот все еще ее ощипывал. Давыдов вытер руку о пиджак, висевший на спинке стула любовника.

Мила так стремительно наколола на вилку зеленую сферу, что муж едва успел открыть рот. И ко всем одновременно, наконец, пришло осознание, что Лёва сел на стул окончательно. То есть праздничная речь кончилась.

– За завещание, – крикнули все, звеня бокалами.

– Да вы тост Лёвы слушали внимательней, чем завещание, – сказал дед, и все посмотрели на Лёву с улыбкой легкого неодобрения.

Миле снова поменяли тарелку, не потому что она была прожорлива – нет, просто пока она ковырялась, всё на тарелке успевало застыть. Питалась она довольно-таки условно. Давыдов тихо мычал себе под нос отрывок любимой пластинки, Лёва тихо сказал: «Может хватит уже». Муж, почти не прерывая мычания, ответил: «Ну, ну», – дескать, спасибо, но не стоит беспокоиться. За столом привыкли больше молчать. Если болтовня за ужином долго не прекращалась или вдруг, что много хуже, речь заходила о деньгах, Мила тянулась к трубке ближайшего телефонного аппарата. Все знали, она намерена без малейших промедлений вызывать полицию. Дед всё же предпринял свою попытку всех раскатать: «И это нынешняя молодежь. Никакого желания веселья. Где она? Что вы с ней сделали? С ней, с молодостью». Все стеклянно замерли, сережки Милы враждебно сверкнули. Как будто дед сказал что-то, даже не крайне не приличное, а какую-то гадость, на которую ни в коем случае нельзя ни реагировать, ни даже подать вида, что заметил это. И на это, разумеется, не стоит отвечать. Дед аж поежился от произошедшего, если это и вправду произошло.

В карты почему-то решили играть при свечах. Все шурились и, за исключением Милы, едва-едва отличали трефы от бубен. Однако Миле карты не нравились, она играла очень

нехотя, лишь за компанию и для комплекта, но всегда выигрывала, но тоже нехотя. Ей, видите ли, больше нравятся шарады и прятки.

Мила так и сказала: «Прятки», но ее любовник с воплем «Догонялки!» вскочил на ноги так проворно, что она вскинулась, как кошка с перепугу, на стул – тот, несмотря на свою тяжесть, начал лениво валиться под невесомой Милой, но она уже перемахнула на стол. Выставив ладони во все стороны, она заскользила и заскоблила высокими острыми каблучками по дереву, любовник широко сгреб рукой, оторвал туфлю и чуть не стянул чулок – в одной туфельке она стала, как ни странно, уверенно устойчива и мгновенно метнулась прочь с трепещущим хвостом чулка как комета – по столу за стол, отгородивший ее от любовника, который теперь уже никогда не смог бы сграбастать ее всю.

С растрепанными волосами отдышавшись от смеха, приступили к пряткам. Прятки так прятки. «Как будто они мне больше нужны, чем вам, – ответила Мила, – Вы и прячьтесь. Искать буду я».

Когда все спрятались, любовник сразу бросил прихваченную для этого тарелку в стену, чтобы не слишком долго стоять в шкафу. И все же, Мила их долго не находила, она только поочередно чмокала то Лёву в шкафу, то мужа на четвереньках под столом. «Где же они? Как можно так прятаться. Может тут?», – чмок, – «Нету тут. Тут?», – чмок, – «Нет».

Деда она нашла сразу. Он никуда не уходил с кресла, а только накиннул на голову скатерку. Она ее сняла с него, тоже чмокнув его, и он выбыл из игры и не притворялся больше сидящим абажуром. Однако ноги его возбужденно елозили под креслом, как на лыжах, когда внучка пробегала мимо.

Мужа и любовника она еще попридержала – это было весело, они боялись пошевелиться, и каждый раз, когда она их целовала в щеку, еле сдерживались, втягивали в туловище шею и жмурили глаза, чтобы не выдать себя. При этом стол, под которым прятался муж, вздрагивал – он и на четвереньках там еле помещался по росту, а тут еще и разобрал азарт.

Мила так и не нашла пропавшую пару к своей туфельке и теперь тяжело топала какими-то заваливающими сапогами мужа, высоко огромными на ее изящных ножках. Наконец, все чудом нашлись. Мила, послунив платок, пыталась на ходу потереть перепачканное паутиной лицо мужа, пока тот выходил в темный сад – вечерами ему нравилось в черной гуще кустов справлять нужду.

Мила долго пыталась ровно усадить на подлокотник кресла старого вязанного медведя, жидко набитого ватой. Она рассадилась и всех остальных на шарады и загадала слово «деньги». Она показывала им и так и эдак, но они всё никак не могли догадаться, и даже кто-то зевнул. Вероятно, то была защитная реакция: при слове «деньги» ей иногда и самой хотелось выбежать из дома. Все поочередно открывали рот, будто вот сейчас... Ни звука не выходило. Попыток больше не было. Все делали вид, что думают. Сигнал тупика. «Ну, деда». Дед хмурил брови. «Лёва!». Тот уже только ворчал, когда слышал свое имя. Она еще держалась за Давыдова, который больше не притворялся и откровенно глядел в пустоту. Мила большими печатными буквами писала на листе разгадку. Грозил слезами, поэтому все дружно и радостно вскидывались: ну конечно же, ну и ну. Мила плюхнулась в кресло и зло показала пальцем мужу выходить следующим.

Давыдов сильно тряс огромный как здание буфет. Наконец, упала чашка и пирамидка крошечных блюдец. Не все они разбились благодаря падению – одно покатило далеко прочь в черноту. Это легко. Все разом сказали: груша. Машут на него: он всегда хочет быстро отделаться.

Лёва, загадав предмет в свою очередь, мог запросто его на ходу поменять, чтобы никто не мог угнаться за отгадкой. В случае таких поворотов Давыдов всплескивал рукой, полагая, что Лёва вовсе уже теперь ничего не загадал. А Миле, той вот нравилось играть в такие догонялки, и она все больше веселилась. Это напрочь отбивало охоту играть у остальных, и уже

был слышен только хохот этой парочки, Милы и Лёвы. Муж с дедом спускались на две ступеньки и поднимались на блестящую медную приступку бара. Они заново раскуривали давно потухшие сигары и со стаканчиками в креслах, наконец, могли о чем-то перемолвиться, о чем не договорили; и тем временем, не могли сдержать улыбок, глядя как заливаются те двое.

После непрерывных визитов любовника муж, в конце концов, почувствовал, что тому очень нравится бывать в их доме. Мужа никогда не беспокоило его присутствие, практически не прерывное. Наоборот. Он старался замечать его настроения. Муж держался за любовника – дома-то у него было не густо народу. К тому же, тот был действительно не заменим: любовник единственный умел пользоваться огнетушителем. Как-то сидели и крутили кино, и любовник героически проявил себя, залив мощной толстой пышной белой струей задымивший киноленткой старый кинопроектор. Муж и жена ему аплодировали. Он им кланялся в синиматографической полутьме. На бис еще разок нажал. Просто восторг.

Все устали. Муж спросил жену, не хочет ли она чуть-чуть пройтись по двору. И она посмотрела на любовника, не будет ли он против. По глазам было видно, что она очень хочет погулять по двору с мужем. Любовник в глубоком кресле со спинкой выше головы кивнул и ей, и мужу.

Оттуда, со двора, где был почтовый ящик, они пришли с письмом. Письмо было деду и без подписи – видимо, отправитель надеялся, что дед сразу поймет, кто пишет. Дед не понял. Показал письмо своему помощнику Лёве. Лёва, взволнованно подняв бровь, сказал, что им лучше выехать с утра пораньше. Дед поморщился на это «с утра пораньше». «Ах вот как...» – повторил он с предстоящей досадой завтрашнего раннего пробуждения. «Ах вот как...» – говорил он себе весь остаток вечера в своем кресле.

Чтобы никто не трогал его вещи, то есть не повыкидывал их, на двери кабинета Давыдова висел дорожный знак кирпича дорожных же размеров. Этих его вещей было немного. Вышедшие из моды галстуки – несколько бабочек и селедок. Разношенные точно под ногу любимые башмаки его позеленели кожей и поржавели шляпками гвоздей, а один из них – не поймешь, левый или правый – был готов уже снова просить каши.

Знак кирпича действовал на Давыдова больше, чем на остальных в доме. Он поднимался по лестнице с таким обреченным видом, будто там за дверью не его кабинет, а маленькая городская старомошеная площадь, где уже разбирают эшафот. Будто он опоздал на собственную казнь. Толпа зевак давно разошлась, и не дождавшийся разочарованный палач плетется к себе со своим тяжелым инструментом; свой длинный острый клубок с прорезями для глаз он стянул с потного лица на самый затылок, потому что при переноске тяжестей он сразу начинал тяжело дышать.

Когда Давыдов открыл кирпич своего кабинета, он сразу съезжился при виде пачки бумаг на столе у негасимой лампы. Двигаясь к светлomu пятну, он словно становился меньше на фоне гигантски разраставшейся своей тени сзади. Он регулярно смотрел текущие дела. Не с целью вмешаться или найти упущения. Ему не нравилось на них смотреть ни снаружи, ни изнутри. Он как будто глядел в картину, на бурлаков на Волге. Все дела, так же как и баржа в какой-то степени, шли по инерции, рожденной тупо глядящей перед собой малой силой, но ему доставляло удовольствие, что он тоже может впрячься и тупо-глядя-потянуть – попасть на картину к бурлакам в их упряжку. Но воображением ощущений удовольствие заканчивалось. Финансовые детали не поддавались его приемам восприятия, они оставались непостижимыми. Он деньги видел, только когда не пытался понять их бухгалтерию, и старался о них не думать как о деньгах в том смысле, что в нашем мире слывет за смысл денег. Если подумать, страх за еще не сбывшиеся доходы – источник чистой глупости во всем остальном. Но доходы Давыдова сбывались всегда, и это рождало его страх.

Он разбогател давно. В то время все богатели бесплатно. Насколько он разбогател, он затруднился бы и сам сказать. Хотя первый образчик своего способа, если можно так сказать, достигать удачи в делах он показал очень рано. После каждого резкого роста доходов ему казалось, что он должен что-то и уступить кому-то или куда-то, ну хотя бы округлить в меньшую сторону. Но именно эти недостаточно ясные экономические убеждения вызывали вокруг еще больший переполох, и всё у него двигалось наоборот – в сторону большую. Расходы поскальзывались и куда-то падали, доходы тоже поскальзывались и падали на него сверху. Он, конечно, знал, что несмотря на то, что оно спотыкается, оно, то есть время, всё равно идет вперед. Но остальные вещи, например деньги, он верил, все же, могут идти назад.

Эту веру подрывали сами деньги. Он тратил их, они к нему возвращались, как отскочивший от стены мячик. В приступе подозрения он как-то записал даже номера нескольких купюр, с тем чтобы позже сверить их с получаемыми в банке. Чем больше росли доходы его конторы, тем больше внутренне смущался Давыдов, не понимая, как он этого добивается, что он делает так – он грыз ногти и скреб лицо, кривился и смешно гримасничал. Бездна дела оказывались в порядке, когда он их с неохотой и за бесценок выкупал. Рост там и тут был уже невероятен, но был. Хотя ведь всё, что росло когда-либо стремительно, на своем невидимом пределе истории лишь стремится удержать позиции. Его рост стремительным оставался. Этот одинокий локомотив несся к концу недостроенных путей и прибавлял ходу. Всерьез казалось, что Давыдов из сочувствия давал приют вконец одуроченным деньгам, которые от отчаяния уже не знали куда податься.

Иногда деньги так благополучно, без всяких тревог со стороны Давыдова исчезали, что он, затаив дыхание, ждал повторения подобного счастливого случайного освобождения. Ведь деньги тем приятны, что их никогда не видишь дважды. Их можно тратить. Они приходят, уходят и исчезают навсегда. Но не у него. Исчезают у других, но при этом должны же где-то появиться. Но не обязаны искать новые места своего появления. Они просто повадились к нему и привычек по своей лени не меняли. Ему самому было чуточку смешно, какое отвращение и страх вызывают у него деньги. Назойливые и даже наглые в своем нетерпении, как какие-то жадные толпы поклонников, готовые в мгновение растерзать своего кумира из жажды любви к нему. Все вверх тормашками. Как будто не деньги, а сам Давыдов был золотым тельцом для самих денег. И от денег ведь не откупишься: «Мы сами – деньги. Мы тем и знамениты, что не нуждаемся в деньгах».

Тут была подмешана некая вторичная случайность, которая, внутри тупого ленивого случая и ему наперекор, действует чуть тоньше и чуть изящнее с намеком на пустой, то есть буквально бездушный, холодный черный юмор, который морозом продерет любую толстую спину. Неослабевающая движущая сила доходности в какие-то мгновения обретала для Давыдова и некую телесную плотность в окружающем воздухе (разумеется, такую, какими люди не бывают). Это постороннее присутствие, это тело денег даже меняло свое положение в пространстве, иногда очень резво и подвижно. Оно ощущалось то справа, то слева. То зайдет сзади, пока он разбирает бумаги, – да так, что очень хочется обернуться. То запросто забежит вперед и заглянет прямо в лицо. Или опустится рядом, как присевшее невидимое облачко; и опять встанет.

В истории его обогащения не всё, конечно, шло гладко. В том смысле, что рост богатства был иногда похож на катаклизмы астрономические. Редко, но происходили толчки, похожие на те, при которых звезда вдруг увеличивает свой объем. В такие моменты казалось, что сами банковские счета, по самой своей природе не материальные, все же треснут под чудовищным напором по своим материальным швам. Давыдов постоянно отгонял эти воспоминания, они могли довести до судорог. Деньги проталкивались хоть и рывками, но огромными сгустками. Загромождали простор сериями бесформенных куч. И холмами. Виделись какие-то курганы

под нависшим хмурым небом. Тут царили демоны денег. Он всерьез опасался, что они в него вселятся.

Как будто большая черная птица сначала осторожно и безболезненно запускает когти в его белую толстую спину и, взмахнув широко черными крыльями, поднимает и плавно несет его на дух перехватывающей высоте. Но это бывало иногда, а всегда бывало только предчувствие этого. Он всегда находился в когтях предчувствия, что когти подцепят его в широкий воздух неба, и он увидит краями глаз трепещущие на ветру концы черных крыльев. И тонкие кончики непостижимых огромных перьев будут развеиваться необъятным течением голубого воздуха.

Иногда он всерьез чувствовал себя обманутым этими демонами: намеренно сделав ошибку, намеренно сделав что-то наоборот в абсолютно сходных ситуациях он получал не убыток, не обратный результат, а абсолютно ту же сумму дохода. Поэтому у него редко возникало желание намеренно одурачить деньги, если уж они не поддавались ему даже по его неуклюжому незнанию.

Ему мерещилось уже, что попроси он кого угодно заплатить – любой, знакомый или не знакомый, партнер или конкурент, должник или кредитор, свой или чужой, все тут же заплатят. И забудут. То есть именно забудут, что заплатили, что в финансовом мировоззрении вообще не вероятно. А если этого мало, то молча еще и доплатят. А если Давыдов сам это забудет, то с деревянным взглядом поверят и в это. И с угрюмым любопытством будут ждать, а не понадобится ли ему еще. А если он заикнется вернуть им всё, ошибочно им полученное, то они, чутко предчувствуя, заранее с зевком отвернутся, в тайне сгорая от стыда и будто не слыша его. Хотя только что пялили на него глаза.

Чтобы выйти из порочного, как он его понимал, круга, одним из вариантов было купить фальшивые усы как у того другого Давыдова. Чтобы не все узнавали, а, следовательно, и не все платили.

Конечно, можно было разом покончить со всем этим, и просто все раздать. Но ему казалось, что и быть бедным тоже будет хлопотно.

Но он не помнил зла. Он иногда сам пытался оживить воспоминания о прошлых денежных страхах, но не мог – денежная жизнь многократно перегружала его память. И его мнение о деньгах уже было неподвижным. Его ранние записи в ежедневнике вселяют чувство какой-то непостижимой обездоленности: учет сумм доходов и расходов в крупные столбики, ужасающе однообразные, к которым он не раз возвращался, делая пометки, не понятные для него самого, судя по тому, что они были обведены несколько раз, и самые жирные были, наконец, зачеркнуты. Судя по всему, все эти страницы с пятнами сала от пальцев принесли ему в своей сумме немало. Ближе к носу вся потрепанная книжонка эта слегка отдает кислятиной. Совсем не похоже на запах денег. Во всех этих его смешных каракулях сквозит какая-то мука, вызванная изнурительным отчаянным непониманием, откуда все берется, и куда все катится. На последней странице нацарапаны палочки. Те самые черточки-зарубки. Их не так много – видимо, они относились к разным записям, и все эти чернильные заборы строчек этих подсчетов успели быстро перепутаться. Лишь однажды его заметки сошлись, видимо, со смыслом отчета по какой-то мелкой сделке. Об этом говорит радостная надпись на этой пожелтевшей страничке «посвящается моей жене».

Вместо заверенных по всей форме таблиц с числами он предпочел бы фотографии денег в качестве подтверждающих документов. Он бы очень удивился, если бы узнал, что знатоками политэкономии и теми, кто умеет смотреть сначала налево на актив, потом направо на пассив, некоторые его действия были уже тогда названы примерами небывалого предвидения и самыми дальновидными из известных, самыми долгосрочными, даже долгоотсроченными, инвестициями. Причем инвестиции эти были настолько очевидны задним числом своим простым планом и настолько прозрачны и легки в исполнении, также задним числом, что впоследствии легко

же поддались и детальному описанию и попали в учебники. К счастью, Давыдов их не читал. Но многих они научили крайне опасной уверенности и наглой смелости в денежных делах. То есть именно в той области, где Давыдов был всегда потерянно одинок и беспокоен.

Вполне осознавая свое ужасающее невежество, Давыдов стеснялся высказываться по любому вопросу. Но если его где-то ловили журналисты и каким-то образом вынуждали сказать что-то, что всегда звучало невпопад, его слова влияли на верхние котировки не менее чем на полтора процента. И он приходил в ужас от такого эффекта от слов, которые он даже не хотел говорить, но почему-то их промямлил, и именно их. Давыдов был чувствителен к подобным мелочам. От удач тоже устаешь.

Лавина доходов так укротила в нем то естество, от которого в каждом происходит обычная человеческая радость от всякой, какой угодно, человеческой деятельности, что он принял бы с жадностью и наслаждением жестокие убытки и как пользу и урок воспринял бы катастрофический финансовый провал. И, как обычно бывает, когда чего-то желаешь и ждешь, именно этого как раз и не происходило. Поэтому усталость от непрерывной работы он считал усталостью от ожидания чего-то чудесного, то есть просто дурным настроением. И поэтому на усталость внимания не обращал и продолжал работать. Так, как он умел – медленно и нудно и скучно. И непрерывно. Упорно и скрытно истребляя в себе надежду обрести понимание элементарной сути и общей цели.

Сознательно и непринужденно он делал вещи, которые другие сочли бы финансовым самоубийством. Его равнодушие к деньгам многие сочли бы безнравственным. А некоторых его глубоко скрытая жестокость в обращении с деньгами повергла бы в ужас. Но когда бы доходы не умели обращаться в расходы, чем бы они были для Давыдова – лишь безответно расширяющимся вакуумом в ледяной черной бездне. Однако прослыть расточителем не всем по силам. Способность тратить больше, чем зарабатываешь, так же необходима, как сохранять богатство, и так же трудно дается. Иногда это дело нескольких поколений упорного воспитания расточительства. Давыдов и перед стихией расходов чувствовал свое бессилие. Но из предосторожности он двигался навстречу своим страхам.

Финансовые отчеты вселяли смятение. «Вот так угораздило», – только и думал он, не останавливая своих попыток расчетов, раз за разом не совпадающих с итогами в отчетах. На нетронутую грустную пачку на углу стола он старался вовсе не смотреть, там числа были еще гуще. Перед ним на мгновение возникла одна счастливая мысль, но поставить девятый месяц впереди шестого казалось не естественным, и поэтому даже она потухла. Бывало желание смешать все бумажки – если ему не видно, то пусть и другие ничего не высмотрят. Слегка пощипывая грустящую нижнюю губу, он смотрел на летний вечер за оконным стеклом. Недолго мешкая, он принимался заново. Ведь непрерывное давление при непрерывном времени обречено на положительный исход. Хотя бы и через миллион лет. Но итог почему-то никогда не бывал окончательным, после суммы следовала опять сумма и опять промежуточный итог со ссылкой на другие разделы, где следовала опять дополнительная сумма. Одна из этих сумм, когда Давыдов на нее наткнулся, взвилась из колонки других лишними звеньями. Он даже тихо вскрикнул от неожиданности. В примечании было сказано, что на днях разорился один из его конкурентов.

Давыдов сидел и неподвижно смотрел в пространство. В глазах его стоял ужас. Как будто человек, его конкурент, пусть и посторонний, но все же человек, загадочно исчез, был похищен потусторонними силами. Вот так – хлоп! левой ладошкой о правую. И всё. И не переделаешь. И хотя теперь эти деньги конкурента уже не могли его обидеть извне, для Давыдова банкротство конкурента означало лишь еще одну неизвестную напасть. Не то чтобы он испугался, просто область непостижимой части мира выросла, что не добавляло ни интереса, ни удовольствия, ни азарта, ни, тем более, спокойствия в его жизнь, и без того переполненную волнением по чему ни попадя. Давыдов даже пытался сесть боком к столу, чтобы подставить под глядящие

на него со стола бумаги с растущими рядами цифр как можно меньше поверхности своего тела. Числа тянулись, как сосиски в непрерывной связке. Он чувствовал себя очень маленьким и ни на что не влияющим на фоне этого астрономического явления, когда баснословное богатство грубо валилось, как лавина звезд другой галактики, на его баснословное богатство, на его и без того не постижимую галактику. Улизнуть не было возможности. Танец галактик обещал длиться миллиарды лет.

Давыдов кубарем скатился с лестницы и запалил камин. Огонь костра отвлекал и чуть-чуть успокаивал.

– Вы так вдвоем устроились, я хочу к вам, – прихватив пледы, Мила натянула на мужа и любовника теплые клетчатые, плотно облепив ими им шеи под самые подбородки. И сама, подогнув под себя ноги, свернулась в щель между ними на диване, щурясь на костер.

Перед тем как разойтись по своим окончательным углам следовал ежевечерний ритуал. Мила всем сует под язык витамин. Кое-кто уже даже ленится делать вид, что глотает.

С утра пораньше все трое наследников одновременно поняли, что это нынешнее лето действительно пройдет. Они стали больше понимать смысл слова завещания. Они глядели на летнее небо, они глядели на цветы, они стали приглядываться к деду, они глядели на его зубы, когда он им улыбался, они глядели на его руки, когда он пил с ними кофе. Деду не очень-то нравились их задумчивые внимательные лица. Все эти их предупредительные жесты, подставляющие ему стул за ужином, или подкладывающие ему на тарелку побольше его любимых печеных на углях баклажан, которые приготавливались теперь ежедневно. Все эти руки вдруг мягко подставляемые ему под локоть, когда он спускался по лестнице со своим командировочным саквояжем. И он, кстати, чуть не упал именно от неожиданности такого внимания, но кто-то успел хватануть его еще и за шиворот, ловко и крепко просунув сзади холодные пальцы под ошейник воротника рубашки.

Несмотря на отрицание дедом ложного прогресса, который успешно осуществлялся, несмотря на его презрение к противоестественным увлечениям и к уже запатентованным извращениям науки, крупнейшие комитеты и все ассамблеи под разными предложениями и всеми уловками приглашали деда и всегда с нетерпением его ожидали. Бытие деда было заполнено почти круговым маршрутом, на остановках которого народ не успевал заметить, что он уезжал. А дед успевал. Успевал забыть их всех. Однако не забывал их в массе, и при любой новой встрече он не терялся. Они для него были общим темным силуэтом с темными кругляшками голов сверху. Этот силуэт был узнаваем, привычен. Деталей в этом силуэте, то есть своих именитых, как и он сам, коллег, он не собирался выделять. Неузнавание распространялось на всех. В этой толпе он не заметил бы и свою внучку. И своему отражению в зеркале он бы лишь высокомерно кивнул.

Когда он краем уха слышал или краем глаза читал, что кто-то говорит о его книгах, его разъедало какое-то злорадство, что вся эта его чушь въелась и продолжает въедаться во все поверхности. Когда же и в беседах в его присутствии ссылались на его труды, дед сам мог вспомнить едва ли пару строк из самих своих текстов. Выручал любовник внучки, который знал их вдоль и поперек. Но дед отмахивался: «Оставьте эти посторонние мысли. Все спрашивают, как я ухитрюсь писать столько книг. Я им отвечаю одно: я не помню ни одной предыдущей». Лёва одобрительно кивал всем вокруг: я, мол, помню. Лёва точно цитировал труды деда. Но деду было невыносимо подозрение, что Лёва держал при этом в руках чью-то чужую книжонку.

– Похоже, он заучил все ваше наизусть, профессор, – все кивали на Лёву.

– В конце концов, он заставит меня в это поверить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.